

# ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ХАДЖИ-МУРАТ

Лев Толстой

**Хаджи-Мурат**

«Public Domain»

1896

**Толстой Л. Н.**

Хаджи-Мурат / Л. Н. Толстой — «Public Domain», 1896

«Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики...»

© Толстой Л. Н., 1896

© Public Domain, 1896

## Содержание

I	6
II	10
III	13
IV	16
V	19
VI	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

## Лев Толстой Хаджи-Мурат

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарин» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, – он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни, – подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. – Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, – все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни», – думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдастся человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его.

«Экая энергия! – подумал я. – Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдастся».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот такая.

## I

Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей. Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведущей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум», – и открыл лицо.

– Алейкум селям, – улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

– Беги в мечеть, зови отца, – приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубаше и синих шароварах, неся подушки.

– Приход твой к счастью, – сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

– Сыновья твои да чтобы живы были, – ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестящими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

– Не хабар? – спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?»

– Хабар иок – «нет нового», – отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами. – Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

– Хорошего нового ничего нет, – заговорил старик. – Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо, – злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и пашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

– Он кто? – спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

– Мюрид мой. Элдар имя ему, – сказал Хаджи-Мурат.

– Хорошо, – сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей слышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями вверх, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится послушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

– У меня в доме, – сказал Садо, – моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

– Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

– Брата Бату пошлю, – сказал Садо. – Позови Бату, – обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

– Можешь свести моего мюрида к русским?

– Можно, – быстро, весело заговорил Бата. – Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

– Ладно, – сказал Хаджи-Мурат. – За труды получишь три, – сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

– Хорошо, – сказал Хаджи-Мурат. – Веревка хороша длинная, а речь короткая.  
– Ну, молчать буду, – сказал Бата.  
– Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?  
– Знаю.  
– Там мои три конные меня ждут, – сказал Хаджи-Мурат.  
– Айя! – кивая головой, говорил Бата.  
– Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?  
– Сведу.  
– Свести и назад привести. Можешь?  
– Можно.  
– Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.  
– Все сделаю, – сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.  
– Еще человека в Гехи послать надо, – сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. – В Гехах надо вот что, – начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурек – тонко раскатанный хлеб – и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат – оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

– Сыну отдать, – сказал он, показывая записку.

– Куда ответ? – спросил Садо.

– Тебе, а ты мне доставишь.

– Будет сделано, – сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

– Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош, – сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

– Спасибо, – сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган. Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли

узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя – кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

– Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает, – повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

– Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

## II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.

– Спасибо – сухо, – сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

– А ведь и есть – потерял, – сердито проворчал Панов, – либо забыл, либо выскочила дорогой.

– Чего ищешь-то? – спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

– Трубку, черт ее знает куда запропала!

– Чубук-то цел? – спросил бодрый голос.

– Чубук – вот он.

– А в землю прямо?

– Ну, где там.

– Это мы наладим живо.

Куриль в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

– Наладил? – сказал он, поднимаясь на ноги.

– А то как же.

– Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

– А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь, – сказал один из солдат ленивым голосом.

– Отдаст, – сказал Панов.

– Известно, офицер хороший, – подтвердил Авдеев.

– Хороший, хороший, – мрачно продолжал начавший разговор, – а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

– Как рота рассудит, – сказал Панов, отрываясь от трубки.

– Известное дело, мир – большой человек, – подтвердил Авдеев.

– Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал... – настаивал недовольный.

– Говорю, как рота хочет, – повторил Панов. – Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама

себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал займы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого непрерывающегося тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

– Вишь, проклятые, как заливаются, – сказал Авдеев.

– Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок, – сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды.

– А что, Антоныч, – вдруг спросил веселый Авдеев Панова, – бывает тебе когда скучно?

– Какая же скука? – неохотно отвечал Панов.

– А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

– Вишь ты! – сказал Панов.

– Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

– А бывает, с вина еще хуже.

– И это было. Да куда денешься?

– Да с чего ж скучаешь-то?

– Я-то? Да по дому скучаю.

– Что ж – богато жили?

– Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

– Ведь я охотой за брата пошел, – рассказывал Авдеев. – У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! Ступай». Так и пошел за брата.

– Что ж, это хорошо, – сказал Панов.

– А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

– Аль покурим опять? – спросил Авдеев.

– Ну что ж, налаживай!

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий – Бондаренко.

– А я, братцы, какой сон видел...

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидели две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая – повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

– Кто идет? – крикнул он.

– Чечен мирная, – заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. – Ружье иок, шашка иок, – говорил он, показывая на себя. – Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

– Лазутчик. Значит – к полковому, – сказал Панов, объясняя своим товарищам.

– Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, – говорил Бата.

– Ладно, ладно, сведем, – сказал Панов. – Что ж, веда, что ли, ты с Бондаренкой, – обратился он к Авдееву, – а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, – сказал Панов, – осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые – ловкачи.

– А что это? – сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. – Пырну разок – и пар вон.

– Куда ж он годится, коли заколешь, – сказал Бондаренко. – Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

– И черт их носит по ночам! – сказал Никитин.

– Стало быть, нужно, – сказал Панов. – А свежо стало, – прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

– Что же, сдали? – спросил Панов.

– Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, – продолжал Авдеев. – Ей-богу! Я с ними как разговорился.

– Ты, известно, разговоришься, – недовольно сказал Никитин.

– Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? – Бар, говорит. – Баранчук, говорю, бар? – Бар. – Много? – Парочка, говорит. – Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

– Как же, хорошие, – сказал Никитин, – попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

– Должно, скоро светать будет, – сказал Панов.

– Да, уж звездочки потухать стали, – сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

### III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один – широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

– Нет, это невозможно! Опять просолил туза! – весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

– Ну простите его! – улыбаясь, сказала Марья Васильевна. – Видите, я вам говорила, – обратилась она к Полторацкому.

– Да вы совсем не то говорили, – улыбаясь, сказал Полторацкий.

– Разве не то? – сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

– Не тебе мешать, – строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

– Извините, господа, – сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. – Ты за меня, Marie, сядешь.

– Согласны? – спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

– Я всегда на все согласен, – сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончился, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

– Знаете, что я вам предложу?

– Ну?

– Выпьемте шампанского.

– На это я всегда готов, – сказал Полторацкий.

- Что же, это очень приятно, – сказал адъютант.
- Василий! Подайте, – сказал князь.
- Зачем тебя звали? – спросила Марья Васильевна.
- Был дежурный и еще один человек.
- Кто? Что? – поспешно спросила Марья Васильевна.
- Не могу сказать, – пожав плечами, сказал Воронцов.
- Не можешь сказать, – повторила Марья Васильевна. – Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

- Ваша рота завтра назначена в лес? – спросил князь Полторацкого.
  - Моя. А что?
  - Так мы увидимся завтра с вами, – сказал князь, слегка улыбаясь.
  - Очень рад, – сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.
- Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно потрянула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

- С чего вздумал запирать?! Болван!
  - Да разве можно, Алексей Владимир...
  - Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...
- Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.
- Ну, черт с тобой. Свечу зажги.
  - Сею минутою.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти вчистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» – думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

- Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.
- Ну что, проигрался? – сказал проснувшийся Тихонов.
  - Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.
  - И на Марью Васильевну смотрел?
  - И на Марью Васильевну смотрел, – повторил Полторацкий.
  - Скоро уж вставать, – сказал Тихонов, – и в шесть надо уж выступать.
  - Вавило, – крикнул Полторацкий. – Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.
  - Как же вас будить, когда вы деретесь.

– Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

– Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

– Eh bien, vous allez me dire ce que c'est?

– Mais, ma chère...

– Pas de «ma chère»! C'est un émissaire, n'est-ce pas?

– Quand même je ne puis pas vous le dire.

– Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire!

– Vous?<sup>1</sup>

– Хаджи-Мурат? Да? – сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы – и муж и жена – были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

---

<sup>1</sup> – Ну, ты скажешь мне, в чем дело?– Но, дорогая...– При чем тут «дорогая»? Это, конечно, лазутчик?– Тем не менее я не могу тебе сказать.– Не можешь? Ну, так я тебе скажу!– Ты? (*франц.*)

## IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежесбритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

– Что надо? – спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

– Думать надо, – сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом. – Женщина с крыши видела, как ты ехал, – сказал он, – и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибежала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

– Ехать надо, – сказал Хаджи-Мурат.

– Кони готовы, – сказал Садо и быстро вышел из сакли.

– Элдар, – прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услышав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие на бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

– Бог да воздаст вам! – сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом – другая.

– Стой! Кто едет? Остановись! – крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным проездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

– Чего надо? – крикнул Хаджи-Мурат. – Взять хотите? Ну, бери! – И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуха в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидел сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названный брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

– Огонь потушить, – сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

– Был здесь Бата? – спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

– Был, давно ушли с Хан-Магомой.

– По какой дороге пошли?

– По этой, – отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

– Ладно, – сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. – Поберечься надо, гнались за мной, – сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумам, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче – и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля, и захватит его в плен, и

отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет» летит на Шамиля, и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха», и крики: «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамиля – это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшее уже сквозь стволы деревьев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хан-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома, и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и, когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул пред-рассветный ветерок.

## V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не издававшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента – окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

– Эге! – крикнул веселым голосом Полторацкий, – ведь это в цепи! Ну, брат Костя, – обратился он к Фрезе, – твое счастье. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпу-

стили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

– Только стал ружье заряжать, слышу – чикнуло, – говорил солдат, бывший с ним в паре. – Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

– Что, брат, попало? – сказал он. – Куда?

Авдеев не отвечал.

– Только стал заряжать, ваше благородие, – заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, – слышу – чикнуло, смотрю – он ружье выпустил.

– Те-те, – пощелкал языком Полторацкий. – Что же, больно, Авдеев?

– Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

– Не примаёт душа, – сказал он. – Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

– Ваше благородие, полковник едет, – сказал фельдфебель Полторацкому.

– Ну ладно, распорядись ты, – сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопровождаемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

– Что это у вас? – спросил он Полторацкого.

– Да вот выехала партия, напала на цепь, – отвечал ему Полторацкий.

– Ну-ну, и всё вы затеяли.

– Да не я, князь, – улыбаясь, сказал Полторацкий, – сами лезли.

– Я слышал, солдата ранили?

– Да, очень жаль. Солдат хороший.

– Тяжело?

– Кажется, тяжело – в живот.

– А я, вы знаете, куда еду? – спросил Воронцов.

– Не знаю.

– Неужели не догадываетесь?

– Нет.

– Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

– Не может быть!

– Вчера лазутчик от него был, – сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. – Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

– Слушаю, – сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидел сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел

руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека: один – молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами, – это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо, – чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

– Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит, Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

– Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

– Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопровождаемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

– Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его убоготворять будут, – сказал один.

– А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, небось...

– А молодчина, что говорить, джигит.

– А рыжий-то, рыжий, – как зверь, косится.

– Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

– Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? – спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.

– Никак нет, ваше сиятельство.

– Хаджи-Мурат, – слышал?

– Как не слышать, ваше сиятельство, били его много раз.

– Ну, да и от него доставалось.

– Так точно, ваше сиятельство, – отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

## VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что всё, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.

– Твой сын – кунак, – сказал он по-русски, глядя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колени.

– Он прелестен, твой разбойник, – по-французски сказала Марья Васильевна мужу. – Булька стал любоваться его кинжалом – он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

– C'est un objet de prix,<sup>2</sup> – сказала Марья Васильевна.

– Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau,<sup>3</sup> – сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, глядя мальчика по курчавой голове, приговаривал:

– Джигит, джигит.

– Прекрасный кинжал, прекрасный, – сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. – Благодарствуй.

---

<sup>2</sup> Это ценная вещь (франц.).

<sup>3</sup> Надо будет найти случай отдарить его (франц.).

– Спроси его, чем я могу услужить ему, – сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

– Он боится, чтобы мы не отравили его, – сказала Марья Васильевна мужу. – Он взял, где я взяла. – И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

– Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку, – часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.

– Voilà l'occasion. Donnez-lui la montre,<sup>4</sup> – сказала Марья Васильевна мужу.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.

---

<sup>4</sup> – Вот случай. Подари ему часы (франц.).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.